

1. Девять призваний

Весной 1926 года я бросил работу.

Первые дни после такого решения чувствуешь себя, как будто после долгой болезни вышел из больницы. Постепенно учишься ходить; постепенно и с удивлением поднимаешь голову.

Я был вполне здоров, но душевно опустошен. Четыре с половиной года я преподавал в частной мужской школе в Нью-Джерси и три лета работал воспитателем в лагере этой школы. Внешне я был весел и исполнительен, но внутренне — циничен и почти равнодушен ко всякому человеческому существу, кроме членов моей семьи. Мне было двадцать девять лет, вот-вот стукнет тридцать. Я скопил две тысячи долларов — неприкосновенный запас — либо на возвращение в Европу (в 1920—1921 годах я жил в Италии и Франции), либо на занятия в аспирантуре какого-нибудь университета. Мне было не ясно, что я хочу делать в жизни. Преподавать я не желал, хотя знал, что у меня есть к этому способности: профессия педагога — часто лишь страховочная сетка как раз для таких неопределившихся. Я не желал быть писателем — в том смысле, чтобы зарабатывать пером; мне хотелось окунуться в жизнь поглубже. Если я и займусь сочинительством, то не раньше чем лет в пятьдесят. Если же мне суждено умереть до того, я хочу быть уверен, что успел повидать в жизни столько, сколько мог, а не сузил свой горизонт до бла-

городных, но преимущественно сидячих поисков, которые охватываются словом «искусство».

Призвания. Жизненные поприща. Стоит внимательно относиться к мечтам о профессии, которые по очереди завладевают воображением подрастающего мальчика или девочки. Они оставляют глубокие следы. В те годы, когда дерево набирает соки, предопределяются очертания его будущей кроны. Нас формируют посулы воображения.

В разное время меня манили ДЕВЯТЬ ПОПРИЩ — не обязательно по очереди, иногда одновременно; иногда я остывал к одному из них, потом оно возникало передо мной снова, иногда очень живо, но в другом виде, так что я узнавал его с удивлением после каких-нибудь событий, вызвавших его из глубин памяти.

К ПЕРВОМУ, самому раннему, меня тянуло с двенадцати до четырнадцати лет. Я пишу о нем со стыдом. Я решил стать святым. Я видел себя миссионером в первобытной стране. Я никогда не встречал святого, но много читал о них и слышал. Я учился в школе в северном Китае, и родители всех моих однокашников (а по-своему и учителя) были миссионерами. Первое потрясение я испытал, когда понял, что они (пусть в глубине души) считают китайцев первобытным народом. Я-то знал, что это не так. Но желание стать миссионером в действительно первобытной стране меня не покидало. Я буду вести примерную жизнь и, может быть, сподоблюсь мученического венца. В следующие десять лет я постепенно понял, какие меня ожидают препятствия. О святости я знал только то, что кандидат должен быть полностью поглощен своими отношениями с Богом, должен угождать Ему и служить Его тварям тут, на земле. К сожалению, в 1914 году (мне было шестнадцать) я перестал верить в Бога, мое представление об изначальной божественности моих собратьев (включая и меня самого) сильно поколебалось, и я понял, что не

могу удовлетворять строжайшим требованиям самоотверженности, правдивости и безбрачия.

По-видимому, в результате этого недолгого увлечения у меня на всю жизнь сохранились — и проявлялись время от времени — детские черты. Я не напорист, и дух соперничества мне чужд. Я мог забавляться самыми нехитрыми вещами — как ребенок, который играет раковинами на морском берегу. Я часто казался рассеянным — витал в облаках. Кое-кого это раздражало; даже дорогие мне друзья, мужчины и женщины (не исключая, пожалуй, и отца), ссорились со мной, обвиняя меня в несерьезности, называя простофилей.

ВТОРОЕ призвание — мирское преломление первого: быть антропологом в первобытной стране, и этот интерес периодически возрождался на протяжении всей моей жизни. Прошлое и будущее для нас всегда — настоящее. Читатели, возможно, заметят, что антрополог и отпрыск его, социолог, все время маячат в этой книге.

ТРЕТЬЕ: археолог.

ЧЕТВЕРТОЕ: сыщик. На третьем курсе колледжа я решил стать замечательным сыщиком. Я прочел множество книг — не только романов, но и специальных трудов о тонких научных методах криминалистики. Старший инспектор Норт будет не последним среди тех, кто охраняет нашу жизнь от вторжения зла и безумия, притаившихся за дверью опрятной мастерской и уютного дома.

ПЯТОЕ: актер, замечательный актер. Об этом мираже можно догадаться, сопоставив остальные восемь влечений.

ШЕСТОЕ: чародей. Этой роли я не выбирал, и мне трудно дать ей точное название. Она никак не связана с эстрадным искусством. Я рано обнаружил, что обладаю неким даром утешения, близким к месмеризму, осмелюсь ли сказать — даром «изгонять бесов». Я понимаю, на чем основано ремесло шамана или знахаря. Мой дар причинял мне неудобства, и я редко прибегал к нему, но читатель увидит, что

время от времени мне эту роль как бы навязывали. В занятии этом есть неотъемлемая доля мошенничества и шарлатанства. И чем меньше говорить о нем — тем лучше.

СЕДЬМОЕ: любовник. Какого рода любовник? Всеядный, как Казанова? Нет. Благоговеющий перед всем возвышенным и чистым в женщине, как провансальские трубадуры? Нет.

Много лет спустя, в очень сведущей компании, я нашел описание типа, к которому принадлежу. Доктор Зигмунд Фрейд выезжал на лето в Гринцинг, пригород Вены. Как-то летом я поселился в Гринцинге и без всяких на то посягательств с моей стороны получил приглашение присутствовать по воскресеньям на том, что он называл «Plaudereien» — свободных беседах, происходивших у него на вилле. В одной из таких прекрасных бесед речь зашла о разнице между любовью и влюбленностью.

— Герр доктор, — сказал он, — вы помните старую английскую комедию — запомнил ее название, — где герой страдает некоторым... торможением — *Hemmung*. При дамах и воспитанных девушках из хороших семей он застенчив и косноязычен, смотрит в землю, но со служанками, с официантками и, что называется, «эмансипированными женщинами» он сама дерзость и развязность. Вы знаете, как называется эта комедия?

— Да, герр профессор. «Ночь ошибок».

— А кто автор?

— Оливер Голдсмит.

— Благодарю вас. Мы, врачи, обнаружили, что Оливер Голдсмит дал типичную картину нарушения, с которым мы часто сталкиваемся у наших пациентов. *Ach, die Dichter haben alles gekannt*. (Поэты всегда все знали.)

Затем он стал объяснять мне связь этой проблемы с эдиповым комплексом и страхом инцеста, когда «почтенные» женщины ассоциируются у человека с его матерью и сестрами — «запретной областью».

— Вы помните, как зовут этого молодого человека?

— Чарлз Марло.

Он повторил имя с удовлетворенной улыбкой. Я наклонился к нему и сказал:

— Герр профессор, можем мы назвать такое явление комплексом Чарлза Марло?

— Да, это будет очень уместно. Я давно искал подходящий термин.

Теофил страдал, как говорится (хотя никаких страданий не испытывал), этими *Nemnungen*. Пусть другие обхаживают месяц за месяцем величавую лебедь и самовлюбленную лилию. Оставьте Теофилу дерзкую сороку и покладистую маргаритку.

ВОСЬМОЕ: пройдоха. Тут я должен прибегнуть к иностранному языку: *el pícaro*¹. Меня всегда увлекал тип, противоположный моим новоанглийским и шотландским предкам, — плут, которому «полиция наступает на пятки», живущий без честолюбивых планов, на кромке благопристойной жизни, с наслаждением обманывающий болвана и благоразумного, скупердяя и самодовольного блюстителя нравов. Я мечтал о том, как обойму весь мир, загляну в миллион лиц, легкий на подъем, не обремененный имуществом и кошельком, сметливо избегая тягот голода, холода и гнета чужой воли. Это не просто жулики, но и искатели приключений. Я с завистью читал их жизнеописания и отметил, что они часто — когда справедливо, а когда нет — попадают в тюрьму. Инстинкт предостерегал меня — и кошмарные сны предостерегали, — что тягчайшей мукой для меня было бы заточение, камера. Случалось, я подступал к самой грани мошенничества, но каждый раз — тщательно взвесив риск. Это восьмое призвание подводит меня к последнему и главенствующему.

¹ Плут (*исп.*).

ДЕВЯТОЕ — быть свободным человеком. Заметьте, каких я не строил планов: я не хотел быть банкиром, купцом, юристом, не помышлял ни об одной из тех карьер, которые приковывают на всю жизнь к разным правлениям и комитетам, — о карьере политика, издателя, борца за реформы. Я не желал над собой никакого начальства — только самый необременительный надзор. Кроме того, все мои интересы связаны с людьми, но людьми как отдельными личностями.

Читатель увидит, что все эти устремления не оставляли меня и потом. Поскольку они вступали в противоречие, у меня случались неприятности; поскольку они засели во мне крепко, осуществляя их, я часто испытывал внутреннее удовлетворение.

Итак, после четырех с половиной лет относительной неволи я стал свободен. Со времен путешествия за границу — шесть лет назад — я вел объемистый дневник (и эта книга, охватывающая четыре с половиной месяца, — по существу, его отрывок). Большинство записей в дневнике — характеристики знакомых людей с теми биографическими сведениями, какие мне удавалось разузнать попутно. Сам я присутствую в нем скорее как свидетель — хотя попадаются и записи, посвященные довольно поверхностному самоанализу. Я мог бы даже утверждать, что последние два года эта портретная галерея была главным в моей жизни. Лишь много лет спустя я понял, что это было своего рода самонаблюдение через наблюдение других. Удивительно все-таки, какими путями природа стремится создать в нас гармонию.

С минуты, когда уволился — за два дня до отъезда из школы, — я стал замечать, что с новой свободой во мне самом появилось кое-что новое. Во мне возродился дух игры — не юношеской (которая есть агрессия, ограниченная правилами), но детской игры, которая вся — воображение, выдумка. Я сделался легкомысленным. Дух игры

истребил владевшие мной цинизм и безразличие. Больше того, во мне проснулась жажда приключений, риска, охота вмешиваться в жизнь других, радоваться опасности.

Получилось так, что в 1926 году свобода пришла ко мне раньше, чем я ожидал. За полтора месяца до конца учебного года в Нью-Джерси разразилась эпидемия гриппа. Изолятор наполнился и переполнился. Спортивный зал, заставленный койками, напоминал лазарет. Явились родители и развезли сыновей по домам. Занятия кончились, преподаватели были свободны, и я уехал тотчас же. Я даже не завернул домой в Коннектикут, потому что совсем недавно провел там пасхальные каникулы. У одного нашего преподавателя, Эдди Линли, я купил машину — с условием, что сперва он перегонит ее из нашей школы к себе домой, в Провиденс, штат Род-Айленд. С машиной этой я был знаком. Когда-то она принадлежала летнему лагерю в Нью-Гэмпшире, где мы с Эдди вместе работали. Как и все преподаватели, мы по очереди возили учеников, обычно на более вместительных машинах, — в церковь, на танцы, в кино. А эта легковая, прозванная «Ханной» — по знаменитой в те годы песне «Бессердечная Ханна», — служила для обычных недалеких поездок: в соседнюю деревню на почту, в бакалею, к врачу, — а случалось, везла несколько преподавателей на вечеринку, угощаться яблочной водкой. «Ханна» послужила верой и правдой и уже разваливалась. Два года назад дирекция лагеря продала ее Эдди за пятьдесят долларов. Эдди был прирожденный механик. Бедная «Ханна» мечтала только об отдыхе в каком-нибудь нью-гэмпширском овраге, но Эдди непрерывно ее воскрешал. Он знал ее «повадки» и «ублажал» ее. Она возила его в Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Нью-Джерси и обратно. Я предложил за машину двадцать пять долларов и попросил дать мне простейшие наставления на

случай поломок. Он согласился, я прокатил его в Трентон и обратно, и «Ханна» слушалась превосходно. Он позвал меня с собой в Провиденс, но я сказал, что переночую в Нью-Йорке и буду у него завтра. Он захватил два моих чемодана и книжки — скромное имущество, которое накопилось у меня в школе. Сюда входили два последних тома моего драгоценного дневника. Я отправился в Нью-Йорк с легким саквояжем. С полудня этого вторника я был свободен как птица.

Нью-Йорк казался мне тогда самым замечательным городом в мире, и сейчас, спустя почти пятьдесят лет, я того же мнения. Я уже видел и успел полюбить многие города: Рим и Париж, Гонконг и Шанхай, где прошла часть моего детства; позже не чувствовал себя чужим и в Лондоне, Берлине, Риме, Вене, — но ни один из них не мог сравниться с Нью-Йорком по разнообразию, неожиданности и климату.

Необыкновенный его климат отличается не только знаменитыми крайностями жары и холода, но и ясными солнечными днями при крепком морозе, и тем блаженным теплом, какое бывает в июле и августе. Кроме того, я верил (и сейчас верю) в теорию, поддерживаемую время от времени так называемыми «авторитетами», что существует некий магнитный пояс в сотню миль шириной и в тысячу длиной, простирающийся под почвой от Нью-Йорка до Чикаго. Людей, живущих в этой области, возбуждает гальваническая сила: они шустры, изобретательны, склонны к оптимизму и недолговечны. Среди них распространены болезни перегруженного сердца. Перед ними стоит тот же выбор, что и перед Ахиллом: короткая, но яркая, жизнь или тихая и малосодержательная. Мужчины, женщины и дети чувствуют это силовое поле, пронизывающее мостовые Нью-Йорка, Чикаго и городов между ними, — особенно весной и осенью.

Энтомологи сообщали, что даже муравьи в этой области двигаются быстрее.

Я собирался — как не раз уже делал — заночевать в клубе студенческого сообщества, в которое вступил в Йельском университете, а вечером пойти на свидание. Еще из школы я позвонил кое-каким нью-йоркским знакомым:

— Доброе утро, говорит доктор Колдуэлл из Монреаля. Можно попросить миссис Денхем?

Ответил дворецкий:

— Миссис Денхем в Северной Каролине, сэр.

— А-а, спасибо. Я позвоню в следующий приезд.

— Благодарю вас, сэр.

— Доброе утро, говорит доктор Колдуэлл из Монреаля. Можно попросить мисс Ла Винья?

— Вам мисс Ла Винья какая, Анна или Грация?

— Мисс Грацию, если можно.

— Грация живет в другое место. Она работает Нью-арк. Косметический салон «Аврора», смотрите телефонная книга.

— Спасибо, миссис Ла Винья. Я позвоню ей туда.

Разочарование было столь острым, что я изменил свои планы: в Нью-Йорке сразу пересел на другой поезд и поехал в Провиденс. Остановившись в гостинице, я на другой день пошел к Эдди Линли за машиной.

У меня еще не было ясных планов на лето. Мне говорили, что в провинции Квебек жизнь недорогая. Остановлюсь ненадолго в окрестностях Бостона, которых почти не знаю, осмотрю Конкорд, пруд Уолден, Салем; оттуда двинусь на север через Мэн, pošлю отцу открытку с его родины... словом, что-нибудь такое.

С меня было довольно уже того, что я могу сесть за руль собственной машины — и передо мной все дороги Северного полушария... и четыре месяца без единого обязательства.

2. Девять Ньюпортов

Итак, в середине дня я пошел к Эдди Линли за «Ханной» и пожитками, которые были в ней сложены. Я попросил его проехаться со мной по городу и дать мне последние наставления касательно норова старой машины.

Вдруг я увидел знак: «НЬЮПОРТ, 30 МИЛЬ».

Ньюпорт! Съезжу-ка в Ньюпорт, где семь лет назад я служил — вполне скромно, поднявшись от рядового до капрала, — в береговой артиллерии, охранявшей бухту Наррагансетт. В свободные часы я много гулял по окрестностям. Я полюбил город, бухту, море, непогоды, ночное небо. Я знал там только одну семью, гостеприимных друзей, которые откликнулись на призыв «Пригласите военнослужащего на воскресный обед», и у меня сложилось благоприятное впечатление о местных жителях. Хваленый курорт богачей выглядел скучно: особняки были заколочены, а из-за ограничений на бензин машин на Белвью-авеню почти не осталось. У меня родилась идея, как подработать на жизнь, не тратя целого дня и моих сбережений. Я довез Эдди до дома, пожал руки его родным, отдал ему двадцать пять долларов и направился к острову Акуиднек, где стоит Ньюпорт.

Что за день! Сколько обещаний в припоздавшей весне! Как дает себя знать близость соленого моря!

«Ханна» вела себя прилично до самой черты города, а там начала кашлять и засбоила. Мы, однако, не сдавались и доползли до Вашингтон-сквер, где я остановился узнать адрес Христианской ассоциации молодых людей — не «Армейской и флотской Х», которая помещалась напротив, а гражданской «Х». Я вошел в магазинчик, где продавались газеты, открытки и тому подобное. (Семья владельцев еще появится в этой книге — в главе «Мино».) Я позвонил в «Х» и спросил, есть ли свободные комнаты. Я жизнерадостно добавил, что мне меньше тридцати лет, крещен в Первой конгрегационалистской церкви в Мадисоне, штат Висконсин, и что я довольно общите-

лен. Усталый голос ответил: «Отлично, дружище, меньше пены! Пятьдесят центов за ночь». «Ханна» не хотела ехать дальше, но я все-таки убедил ее свернуть на Темза-стрит. Я остановил ее перед «Джосайя Декстер. Гараж. Ремонт». Механик долго и вдумчиво осматривал машину, изрекая слова, недоступные моему разумению.

— Сколько это будет стоить?

— Судя по всему, долларов пятнадцать.

— Вы покупаете старые машины?

— Брат покупает. Джосайя! Джосайя! Драндулет предлагают!

Это был 1926 год, когда все механики, электрики и водопроводчики были не только добросовестны, но и считались в каждом уважающем себя доме незаменимыми. Джосайя Декстер был гораздо старше брата. Такие лица, как у него, попадают только на лагеротипах судей и пасторов. Он тоже осмотрел машину. Братья посоветовались.

Я сказал:

— Если вы отвезете меня с багажом в «Х», я продам вам машину за двадцать долларов.

Джосайя Декстер ответил:

— По рукам.

Мы перенесли мои вещи в его машину, и я хотел уже было сесть, как вдруг сказал: «Минутку!» Воздух кружил мне голову. Я был в миле от того места, где прошла часть двадцатого и двадцать первого годов моей жизни. Я повернулся к «Ханне», погладил ее по капоту и произнес: «Прощай, «Ханна». Расстаемся друзьями... Ты меня понимаешь?» Потом прошептал в ближнюю фару: «Старость и смерть никого не минут. Даже самая усталая река приходит к морю. Как сказал Гёте, «Valde ruhest du auch»¹.

¹ Строки из стихотворения «Ночная песня странника:

Подожди немного,

Отдохнешь и ты. — Пер. М. Лермонтова. — *Примеч. ред.*